

**Чеховский фестиваль идет к концу, и под занавес припасены основные сюрпризы. Недавно мхатовские подмостки были предоставлены бесспорным лидерам мировой режиссуры — американцу Роберту Уилсону и японцу Тадаши Сузуки.**

**О** ба они «олимпийцы», то есть члены созданного несколько лет назад комитета театральных олимпиад (от наших там представительствует Юрий Петрович Любимов). Очередная олимпиада пройдет в Стране восходящего солнца, под сенью руководимого Сузуками грандиозного театрального центра в Токио, в 130 километрах от Токио. А затем, возможно, театральную олимпиаду будет принимать Москва.

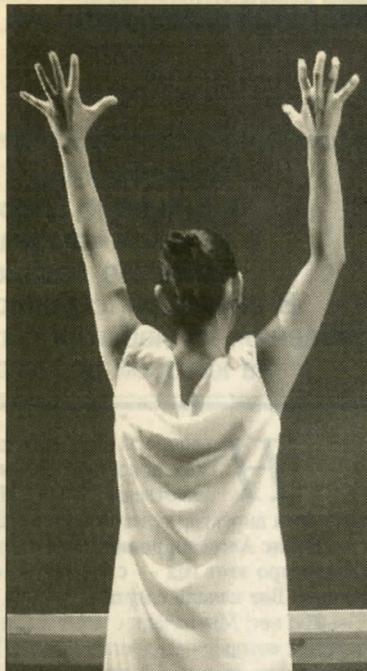
Начну, однако, не с олимпиады и даже не со спектаклей, а просто с личного впечатления от двух режиссеров, выступивших в фестивальном пресс-центре недалеко от дома Станиславского (с Тадаши Сузуками удалось потом потолковать и отдельно). Техасец Боб Уилсон поначалу меньше всего напоминает артиста. Скорее, отставного резидента спецслужбы, отбывшего жизнь в индийской колонии. Огромный, вальяжный, мощная шея, несущая крупно вылепленную голову в роговых очках. Поворачивается всем туловищем, слова текут единым потоком, прерываемые точно рассчитанной содержательной паузой. Говорит все время одно и то же, но каждый раз «проживает» высказанное. Великолепно играет голосом, смешно имитирует: то завывания актеров-звезд в шекспировских постановках, то бормотание героев абсурдистских пьес. Он пробовал себя в драме, опере, уличных представлениях, театре высокой моды. Знает китайский, индийский и полинезийский театр, работал с профессионалами и любителями в разных странах и частях света, сейчас практикует в основном в Европе («Персефону» сделана в Милане). Архитектор и художник по образованию, он не принимает театр интерпретационный, то есть сильно зависящий от литературы. В руках держит огромную книгу-альбом, на корке которой крупно написано ROBERT WILSON (когда-то Борис Равенских печалился, как трудно ему работать в Малом театре: на репетиции всего четыре актера, но при этом каждый из них уже издал книгу «Моя жизнь в искусстве»).

Уилсон свою «жизнь в искусстве» слегка демонстрировал. Сузуки — по-восточному — начал с одаривания. Буклетики, программы, отзывы критики всего мира о его спектаклях. Великолепные фотографии театрального центра в горах: у него там семь театров, тридцать актеров, которых он держит на контракте. Работает с ними много

лет, по русской системе, не привившейся на острове. Там тоже все идет в сторону американизации и pragmatизма, которым он пытается противостоять. Режиссеров в его стране человека три-четыре, основы этой суперпрофессии только формируются, и он там призываний классик. Японский гуру: кошачья пластика, умнейшие щелочки глаз-копилок, перед любым ответом улыбается, то ли наивности вопроса, то ли тому, что он все это давно уже изложил миру. И действительно изложил. Он написал множество книг, не меньше написано и о нем. На прямой вопрос, а кто ему в современном театре товарищ, назвал техасца Боба Уилсона.

Спектакли, представленные «олимпийцами», действительно многое объединяет. Их единит лексика и грамматика театрального языка, достаточно далекого от того, каким описывает мир нынешняя русская сцена. Большинство тех, кто определяет эту сцену, в мхатовском зале присутствовали. По коротким репликам и вспышкам перекрест-

извлеченной из Европидовых «Вакханок» (спектакль называется «Дионис»). Оба режиссера абсолютно свободны по отношению к исходному тексту. В титре бросается все что угодно: России братается с Филиппом Гласом (это у Уилсона), японская речь чередуется с английской — у Сузуки. В обоих спектаклях сотни культурных реминисценций, извлеченных из живописи, военной мушты, спорта, современного танца и т.д. При этом все это происходит рекордно быстро (для наших эпически дышащих режиссеров — почти «ку-



## Из какой пены родилась

рортный вариант», как прокомментировал один из них). Гомер вместе с Европидом укладываются в два с небольшим часа, в сущности, их можно было бы сыграть одним спектаклем.

Уилсон владеет «хищным глазомером». Любой жест актера, любое его перемещение в пространстве — поставлено.

Очень часто актер двигается или поконится на фоне ослепительно чи-

мко было бы сказать, что походка тут становится «зеркалом души», но про душу в этом театре речь не идет. Тут интересуются жизнью человеческого тела. Тот, кто знает 350 способов играть глазами или 700 способов игры с руками своего халата (как знают это актеры китайской оперы, которым Уилсон завидует), тот владеет важным знанием о человеке. Европейский актер этим знанием не владеет.

Уилсон рассказывает о духовном первотолчке, который он получил в конце 60-х, начиная свой театр. Он встретился с одним психологом в Колумбийском университете в Нью-Йорке, и тот показал ему документальный фильм. Это была попытка зафиксировать ритуальный эпизод материнской жизни: ребенок кричит, и мать бросается помочь младенцу. Рапидная техника позволила разложить эпизод на мельчайшие составляющие, и тогда выяснилось, что в восьми из десяти случаев первое движение матери по отношению к ребенку — угрожающее. Когда это показывали матерям — они отказывались верить: ведь они же любят свое чадо! Так Уилсон пришел к идеи, что тело наше если не умнее, то первичнее слов, что театр — это место, где надо разложить позу и жест на составляющие и заново воссоздать мир. И не только позу и жест, но и звук, и цвет. В «Персефоне» он представил один из превосходных образчиков такого «разложения» мира на составляющие в сцене подземного царства.

Слушая и смотря Уилсона, с грустью думаешь о русской театральной культуре. Все, что он говорит и демонстрирует, — отголоски театральных идей, выдвинутых Мейерхольдом и Таировым. Все это ушло



ной полемики можно было понять, какие старые струны тут затронуты.

«Олимпийцы» работают в зоне мифа. Уилсон показал «Персефону» (по мотивам Гомера). Сузуки оглушил и ослепил невероятной звуковой и световой симфонией,

того холста, меняющего цвет: таким образом режиссер живописует актерским телом, а актер приучается контролировать даже движение своего мизинца. Походка каждого виртуозно индивидуализирована.



«Дионис» Тадаши Сузуки:  
современный мир через  
греческие сюжеты

Михаил ГУГЕРМАН

## Афродита?

у нас в песок, загублено, а теперь возвращается из чужих рук в достаточно зализанной, стерильной форме, не открывющей, мне кажется, реальных соприкосновений ни с безднами античного мифа, ни с безднами современного сознания. Речь идет о проблеме актера и зрителя. Если театр — это лишь пиршество глаза, не затрагивающее личного эмоционального опыта человека в зале (про со-переживание или со-чувствие не говорю, оно тут принципиально отвергается), если античный миф становится лишь поводом для виртуозной стилизации, возникает хорошо известный (вернее, хорошо забытый) тупик, пройденный русской сценой в начале века. Есть тупики реалистического или психологического театра, так же как есть тупики театра формального или визуального. Когда играют греков, угроза формальных навыков особенно ощущима. С. Аверинцев лет тридцать назад предупреждал об опасности эстетизации греческого мифа; любование его «красотой» и «благородством». «Здесь точно такой же избыток зверской жестокости, щемящего страха, гротеской непристойности, как и во всякой невыдуманной мифологии». Афродита, конечно, родилась из пены морской, но не стоит забывать, вокруг какого предмета эта пена образовалась: «бога Урана осколили и бросили его срамной член, истекающий кровью и спермой, в море».

**В** спектаклях Уилсона «специя» как бы не воспоминает о своем происхождении. Основной вздох смотрящих «Персефону» — боже мой, как это красиво. Вероятно, поэтому Роберта Уилсона смотреть в паре с Тадаши Сузукой — визуальный театр, покоя-

щийся на отточенной формальной технике классического японского театра, сплавлен с яростной энергией, которую миниатюрный японец добывает из артезианских человеческих глубин. Можно было бы написать трактат о том, как он работает с актерским голосом, извлекая некий животный первозданный протяжный звериный рык, который, честно говоря, казался неуместным в скромном шехтельевском декоре, приспособленном для вздохов трех сестер. Тадаши Сузуки извлекает свой звук не только из родных японцев. Американская актриса, которую он поставил в центр композиции, сильно оянена и находится в своем западном горле такие же жуткие вибрации удивления, горя и страха, ко-

торыми владеют ее азиатские партнеры. Режиссер жаждет распространить добытый опыт на весь мир, преодолеть «барьер» японской остронной ограниченности (понятие «барьер» и его преодоление — основа «системы Сузуки»). Мхатовский «барьер», как уже было сказано, был мелковат для этого голоса. Для «прекрасной звероподобности» дионисийской культуры нужен был иной резонатор, тут были бы уместны тысячи зрителей, сидящих под открытым небом и следящих за борьбой людей и богов. Сузуки меньше всего занимает знаковость поз и движений. Это вызубрено в его культуре каждого подростком. Его занимает человеческая энергия, таящаяся за знаковым поведением, его занимает политика, его занимает современный мир, который он пытается понять через греческие сюжеты. Его театр покоятся на серьезнейшей просветительской основе, которую у нас теперь даже неловко обсуждать. Сузуки хочет переделать мир, он хочет противостоять «американизации» японского искусства, то есть превращения знака в чистый товар. Он знает, что Станиславский занимался йогой и увлекал своих артистов «переливанием праны». Он ощущает его собратом по глубинному бурению.

Он ставит в своем театре не только греков, но и Чехова, Беккета, полагая их равновеликими грекам. Боюсь, что этот мирский план — в случае «Диониса» столкновение государственной власти и власти религиозной — в московском зале воспринят не был. Грубо составленное оперно-балетное либретто не может преодолеть языковую глухоту и помочь человеку, слыхом не слыхавшему ни о каких мифах и неспособному читать знаки чужой культуры как что-то, имеющее от-

ношение к его собственной жизни. Поэтому на все лады повторялось в зале, а потом и в критике: боже мой, как это красиво, какие позы, как двигаются, как рычат, какие изумительные картины! Я спросил Сузуки, как он отнесся бы к такой чисто эстетической оценке его работы? Он ответил коротко и без обычной улыбки: если воспринимается только знавковый план, это было бы ужасно.

**Л** ет пятнадцать назад к нам завезли «Кабуки». Выставили «дорогу цветов», надели изысканные костюмы, раскланялись на тысячу ладов. Зал хранил настороженное, вежливое, музейное молчание. Как положено, восхитились отточенностью жестов и поз, переливали голосовых модуляций и разошлись по домам. «Теперь, мол, мы знаем, что такое «Кабуки»: очень красиво, но не имеет решительно никакого отношения к моей жизни». А через несколько лет мне пришло увидеть этот же спектакль в Токио, в естественной обстановке этого театра и этой публики, которую он воспитывает несколько столетий. Что ж там творилось! Не всякий футбольный матч мог бы сравниться с накалом кабукианских страсти. Публика неистовствовала: актеров брали, актерами восхищались, подбадривали: «Молодец, давай, жми, потрясище» и т.д. Я сидел в полнейшем эмоциональном одиночестве, а после спектакля осторожно попытался выяснить, чего они так орали. Ведь сценарий известен от века, жесты изучены в деталях. Ответ был такой: что вы, как раз нет! Тут есть тончайшая импровизация, за которой публика и следует. Если десятилетиями в таком-то месте актер «Кабуки» делал жест пальцем вот так, а сегодня он своим мизинцем пошел в другую сторону — это же революция. И потому публика беснуется от восторга или — если не понравился поворот мизинца — оскорбляет артиста.

Так живет культура, так рождается ее живой жест, который со временем обязательно превращается в мертвый знак. Мертвым знаком для нас стало наше собственное прошлое. Мы оглохли от перемен. Юрий Петрович Любимов стоит в дверях мхатовского зала после «Диониса» и клеймит Станиславского и его последователей, которые превратили «систему» в кормушку для бездарных педагогов. В других дверях стоят правоверные мхатовцы и клеймят «знаковый театр», которому не нужен ни живой артист, ни живой зритель, а нужны лишь тоющие мозги театральных гурманов, взывающих над красивыми картинками. Нужны были Роберт Уилсон и Тадаши Сузуки, чтобы вспомнить свою собственную родословную и подумать о том, куда же нам плыть.